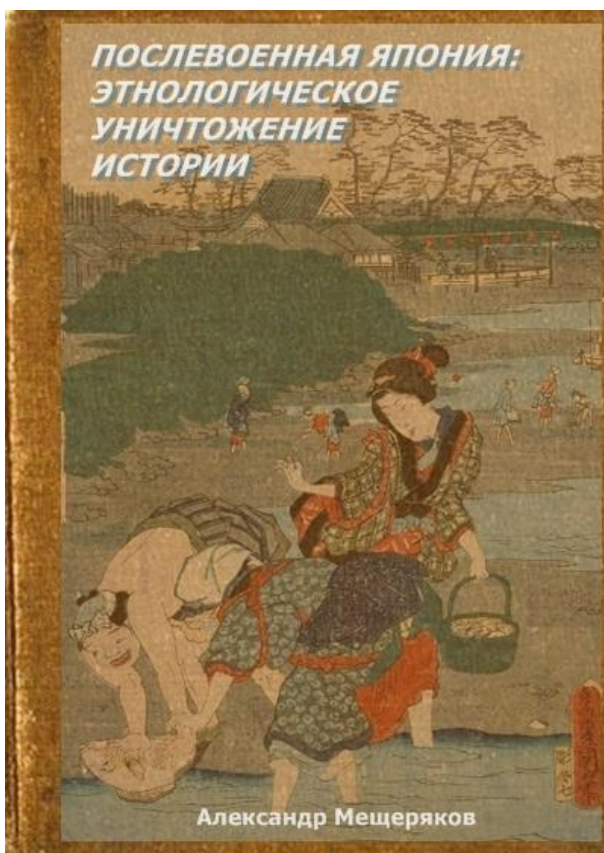

ПОСЛЕВОЕННАЯ ЯПОНИЯ: ЭТНОЛОГИЧЕСКОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ИСТОРИИ



Автор: Александр Мещеряков

В отличие от нацистской Германии, в Японии этнология не являлась до Второй мировой войны и во время нее составной частью официальной идеологии. Эта идеология любила метафору единства. «Сто миллионов сердец бьются как одно» (итиоку иссин), – утверждала пропаганда. Превосходство японцев над другими народами обосновывалось прежде всего тем, что они, проживая в стране, созданной синтоистскими божествами, превосходят другие народы в верности своему императору. Пospорить с этим было трудно, ибо мировые державы (США, Франция, Германия и СССР), на которые равнялась Япония, уже прошли стадию монархического строя. Исключение составляла Великобритания, но там такого верноподданнического порыва действительно не наблюдалось. Само слово «японцы» в официальных документах употреблялось редко, вместо него были в ходу такие обозначения, как «японоподданные» (нихон синмин) или просто «подданные».

По случаю грядущего вступления на престол императора Тайсё (1912–1925) был выпущен предкоронационный альбом, содержание которого было одобрено на самом высоком уровне. Он открывался следующими словами: «Благоухающая по утрам горная сакура поистине прекрасна. Однако будучи пересажена в иноземные страны, она будет продолжать расти. Высящаяся среди облаков божественная гора Фудзи высока и почитаема. Однако в иноземных странах есть горы, которые

выше Фудзи. Среди обычаев и институтов есть разные – есть такие, что лучше у них, а есть такие, что лучше у нас, и если возникнет желание заимствовать их, то это возможно. В настоящее время мы заимствовали у них хорошее – носим европейскую одежду и управляем автомобилями. Они тоже заимствовали у нас хорошее – устраивают чайную церемонию и занимаются джиу-джитсу. Выгоды, которые приносит усиливающееся общение, находятся в соответствии с велениями времени, что приводит к выравниванию непохожего. Но здесь есть то единственное, чего невозможно заимствовать, даже если иноземцы пожелают того; то единственное, что невозможно скопировать, даже если пожелать того: наш императорский дом, который правит без перерыва на протяжении десяти тысяч поколений – такого нет нигде.

Невозможно себе даже представить, чтобы в какой-нибудь стране государь являлся бы “отцом и матерью для народа”. И только в нашей великой японской империи возможно такое. Не существует такой страны, где бы народ желал довести до совершенства свое “верноподданничество и сыновний долг”. И только в нашей великой японской империи возможно такое.

В нашей японской империи императорский дом и народ не находятся в отношениях ненавистного повелителя и повелеваемого. Они находятся в

отношениях главы семьи и члена этой семьи. И поскольку таковые отношения продолжают не век и не два, а в течение долгих тысяч лет со времени основания государства, то эта идея, передаваясь из поколения в поколение, сформировала врожденное чувство почтения и любви по отношению к императорскому дому, чувство, которое прочно запечатлелось в умах народа — в каждом представителе японского народа без изъятия, превратившись в его неотъемлемое свойство» (Сокуи кинэн... 1913: 2–3).

По этому тексту хорошо видно, куда дул японский ветер. Идеи об уникальности японской природы и японских обычаев оставались на втором плане. Внимание идеологов полностью концентрировалось на фигуре государя и непрерывности династии.

Изучая локальные сообщества, предвоенная японская этнология не могла окончательно затушевать тот факт, что Япония состоит из множества зачастую изолированных сообществ, которые довольно сильно отличаются по языку, обычаям, стилю жизни. Этнология представляла собой академическую дисциплину, о существовании которой знал лишь узкий круг интеллектуалов.

Но после поражения во Второй мировой войне этнологи оказались востребованы. В первую очередь это связано с тем, что прежние формы

самоидентификации и прежде всего история оказались скомпрометированы. Учебники истории, заполненные примерами верноподданничества, больше не могли выполнять своего предназначения. Прежняя верность императору также переставала быть столь актуальной, как в прошлом. И здесь на выручку пришла этнология. Этнологи во главе с Янагида Кунио (1875–1962) предложили такие подходы, которые позволяли преодолеть общественный разброд, выразившийся в разочаровании, чувстве унижения, потере идеалов единства, распространении марксизма, быстром росте «новых религий». Потребность японского общества с его неразвитым индивидуальным началом в объединяющих, склеивающих идеях была велика. Потребность была велика и в том, чтобы отделить себя от других. Привычная оппозиция «свой – чужой» требовала нового осмысления.

Выдающаяся роль в общественном признании этнологии принадлежала Янагида Кунио. Ко времени окончания войны он был автором множества произведений – художественной прозы, поэзии, эссеистики, научных и околонучных трудов. Кроме того, он был хорошо известен и в правительственных кругах. После окончания юридического факультета Токийского императорского университета он начал свою карьеру в качестве чиновника в министерстве сельского хозяйства и торговли (1900), совершая по

долгу службы многочисленные поездки в глубинку. Наблюдения сельской жизни послужили основой для его многочисленных путевых заметок. Впоследствии Янагида служил по совместительству в секретариате Министерства двора (1908). В 1913 г. стал одним из основателей журнала «Исследования деревни» («Кёдо кэнкю»), издавался до 1917 г.). В 1914 г. занял должность главы секретариата палаты пэров – верхней палаты парламента (оставил эту должность в 1919 г. по собственному желанию). Впоследствии Янагида Кунио много путешествовал, выступал с лекциями по этнологии, сотрудничал с газетой «Майнити». В 1925 г. он начал выпускать журнал «Этнография» («Миндзоку», издавался до 1929 г.). В 1933 г. выступил одним из соучредителей журнала «Остров» («Сима», просуществовал два года). За это время Янагида Кунио написал множество книг, участвовал в этнографических экспедициях, собирал фольклор. Однако, несмотря на свою определенную известность в академических кругах, вплоть до окончания войны Янагида не пользовался широкой популярностью. Настоящее признание он получил только на восьмом десятке лет. В июле 1946 г. он был назначен советником Тайного совета – совещательного органа при японском императоре (Тайный совет был ликвидирован в мае следующего года). В июле 1947 г. он стал членом Академии искусств, а в декабре 1948 г. – членом Академии

наук. В ноябре 1951 г. Янагида Кунио наградили орденом культуры. Общественное и государственное признание Янагида свидетельствует не только о его личных заслугах, прежде всего оно говорит о том, что этнология была востребована послевоенной Японией.

В начале 50-х гг. XX в. под редакцией Янагида Кунио вышел сборник под названием «Японцы» («Нихондзин»), который можно считать программным в деле превращения этнологии из академической дисциплины. Янагида Кунио писал: «Оценивая ситуацию в целом, следует сказать, что за последние несколько лет качество японцев страшно понизилось, они стали легкомысленными. Они – словно опавшие листья невзрачной осени, они лишены привлекательности, в будущем их ждет очень мало радостей. Для того, чтобы воспитать из этой толпы одного или же многих людей, которые отдадут себе отчет в этом, и существует научная дисциплина, способная не пасть духом и продвигаться вперед. Мы, этнологи, пребываем на территории маленькой научной дисциплины, однако смысл нашего существования заключается в том, что мы несем на плечах всю Японию. Только немногие ученые придерживаются постулатов этой науки, но японцы уже замечают, что этнологи совершенно правы, и для этих людей существует возможность открыть для себя новые значимые факты относительно той сокрытой Японии, о которой они

ничего не подозревали. Поскольку мы так темны, перед нами открывается радость познания, мы можем хотя бы немного помочь тем людям, которые обливались слезами и горевали. Заставить науку служить этим целям – вот в чем состоит наша задача» (Нихондзин 1976: 39).

Таким образом, этнологи под водительством Янагида осознавали себя не столько «кабинетными» учеными, полагающими, что смысл их деятельности состоит в выяснении истины с помощью рациональных методов, сколько «деятелями» и «сеятелями», созидателями новой Японии и ее учителями. Как это было традиционно принято в Японии, они проводили достаточно резкую грань между «чистой наукой» (гакумон) и «учением-воспитанием» (кё). При этом общественный статус учения-воспитания, предполагающего включенность человека в процесс познания и его наставление на истинный путь, был намного выше. Недаром к разряду «кё» принадлежали и буддизм, и конфуцианство.

Хори Итиро, ученик Янагида Кунио, вторил своему учителю: «Пусть книга “Японцы” поможет обрести простым людям настоящую уверенность в себе, пусть она предоставит возможность для самоанализа» (Нихондзин 1976: 263). Этнологи выстраивали конструкцию, которую можно было бы назвать памятником неизвестному японцу.

Для того, чтобы воздвигнуть эту конструкцию, следовало расчислить для нее место, то есть

поквитаться с историками, их «ошибочными» подходами и методами. Хагивара Тацуо писал: «В качестве одного из недостатков японцев следует указать недостаточность их исторического самоанализа. Несмотря на то, что во время войны необходимость изучения японской истории подчеркивалась с такой интенсивностью, в этом образовании доминировал субъективный и сентиментальный элемент, а научные основания почти отсутствовали. После войны на это стали обращать внимание, однако цель еще очень далека. Неумеренная гордость за страну и неумеренное самоуничужение – эти крайности все еще сосуществуют. В прошлом воспитывалась гордость за японскую армию, но после поражения она стала представляться откровенно жалкой. История Японии, представленная в безудержных восхвалениях, и совершенно противоположная история, представленная в самоуничужении, – вот противоречия, заполнившие сознание японцев. И поэтому сегодня не время для самоанализа японцев с помощью истории» (Там же: 14).

Хагивара Тацуо шел еще дальше, подвергая сомнению не только «японский вариант» истории, но и сами методологические основы исторической науки. Он утверждал, что она опирается почти исключительно на письменные свидетельства, а их источником являются власть предрежащие. В последнее время на Западе зародился критический подход к источникам, который предполагает

операцию сопоставления источников, отражающих разные точки зрения. При их сопоставлении и вырисовывается объективная картина. Однако в нынешней Японии, говорил Хагивара, такой подход невозможен, поскольку до самого недавнего времени круг образованных людей был чрезвычайно узок, а потому выявление различных точек зрения затруднительно. Кроме того, существующие источники не отражают повседневной жизни. Однако из существующего кризисного положения есть выход. Он состоит в этнологии. Можно было бы посчитать этнологию частью исторической науки, но частью идеальной исторической науки, которая в Японии не существует (Нихондзин 1976: 23).

Отмечая «недостаточность исторического самоанализа» японцев, Хагивара Тацуо отмечал, что из этой ситуации есть выход. «В основании жизни японцев есть то, что называют “сердцем японца”, то, что можно было бы назвать “натурой” или “характером”. Вот к этому понятию и следует подойти с научной стороны. Этнология является для этого наиболее подходящим средством... Имея в Японии богатый этнологический материал, мы не относимся к нему как к грустному свидетельству отсталости страны, мы рассматриваем его как одно из тех предназначений, которые имеют японцы в мире» (Там же: 20–21).

Вслед за Янагида Кунио Хагивара Тацуо утверждал, что сбор этнологического материала

может осуществляться только самими японцами. В особенности это касается такой области, как «картина мира» (сэйкацу исики), поскольку в процессе сбора такого материала задействованы не только глаза и уши, но и «сердце» (Там же: 26). Патриотизм времен Мэйдзи и Тайсё был основан на гордости политической силой, ростом экономики, военными победами и на ксенофобии. Этот патриотизм был «внешним» и наносным – если бы он не был таковым, поражение не вызвало бы такого смятения в умах, которое наблюдается в настоящее время. Задача состоит в том, чтобы сделать патриотизм «внутренним», чтобы человек испытывал личную ответственность и проникался чувством своего предназначения (Нихондзин 1976: 28–29). Иными словами, предлагалось испытывать гордость за то, что ты японец. Осуждая слабое развитие в японцах индивидуального начала, этнологи утверждали, что еще нужно много сделать для развития настоящей демократии, ибо нынешнее сознание с легкостью порождает диктатуру (Там же: 77–78). Это была демократия с сильным этнологическо-крестьянским духом. Этнологи приняли на вооружение одну из основных составляющих крестьянского менталитета, проводящего резкую границу между «своим» и «чужим». В Японии с ее обилием изолирующих ландшафтов эта граница была обозначена еще ярче, чем во многих других культурных традициях. Этнологи пытались доказать, что, несмотря на это,

обитатели Японии представляют собой единый народ.

Янагида Кунио писал: «Несмотря на сильно отличающиеся от района к району климатические условия, деревенские люди в Японии одушевлялись, по счастью, одними и теми же настроениями, обладали одним и тем же семейным опытом. Выигрышность данной ситуации заключена в том, что, рассматривая какие-нибудь важные проблемы, мы, сравнив несколько мест, которые немного отдалены от современной культуры, получим (нужные) результаты с неожиданной легкостью. В этом заключена громадная уникальность Японии. Результаты обследований будут обладать почти такой же ценностью, как и данные письменных источников. (Этнологические обследования) восполнят лакуны двухтысячелетней истории, те лакуны, которые возникают из-за того, что используются исключительно данные книг, написанных аристократами из Киото или буддийскими монахами, книг, которые обычный человек и понять-то не может, книг, которым невозможно подражать.

Это правда, что соседний Китай обладает давней историей, однако история тех людей, которые его населяют ныне, не идет ни в какое сравнение с японской. На расстоянии в 500 ри, отделяющих Кюсю от Тохоку, есть горы и реки; кроме того, людям не разрешались далекие путешествия. В том процессе длительных перемен, происходивших в

условиях изолированности людей друг от друга, мы многое забыли такого, что хотели бы знать. И мы можем вспомнить опыт прошлого – и в этом состоит огромная уникальность островной страны под названием Япония» (Нихондзин 1976: 54–55).

Говоря об «уникальности» японцев, Янагида Кунио повторял основной тезис довоенной пропаганды. Однако он наполнял понятие «уникальности» другими смыслами: «Долг нашей науки состоит в том, чтобы говорить истину. Однако справедливость тех или иных ценностей определяется несправедливыми людьми будущего. Автор утверждает, что история – это не немногие выдающиеся личности или же наиболее почитаемые люди, история образована японцами в целом. И хотя в этом образовании под названием “японцы” между людьми и существовали незначительные отличия в счастье и общественном положении, образование под названием “японцы” превосходит эти отличия; об их истории и размышляет автор» (Там же: 57).

При таком подходе отодвигалась на второй план та проблема, которая всегда является чрезвычайно острой в обществах, пораженных идеологическим кризисом: проблема оценки тех или иных исторических личностей. Этнологи не работают с конкретными личностями, они работают с группами людей, в которых растворен человек, у которого нет имени, но есть его социальная функция. В данном случае – человек, которого они считали японцем.

Вместо верности конкретному лицу (императору) этнологи предложили другую референтную группу – они предложили быть верными своему японскому народу, искать у него «сердцевину» японской культуры. Хагивара Тацуо отмечал, что суть японской культуры обнаруживается не столько у правящего класса или же у интеллигенции, сколько у «простого народа» (Там же: 201). Под «простым народом» понимались, разумеется, крестьяне. Точно так же, как и военная пропаганда, этнологи делали свою основную ставку не на носителей городской культуры, а на «людей земли». Хотя Япония стремительно урбанизировалась, большинство горожан родились еще в деревне. Задача состояла в том, чтобы описать крестьянскую культуру, составить ее каталог, поднять ее статус и возбудить всеобщую ностальгию, чтобы превратить крестьянскую культуру в основу национальной идеологии.

Отрицание этнологами исторической науки и ее методов приводило к тому, что мир представлялся им неизменным. Японских этнологов интересовало не событие, не его неповторимость, а повторяемость событий. Поэтому их главное внимание было направлено на ритуалы и церемонии годового и жизненного циклов. При таком подходе деревня, община, сама жизнь лишались возможности развития. Отсюда происходят многочисленные натяжки и ошибки, свойственные для школы Янагида Кунио. Этнологи исходили из того, что

«японцы» существовали с начала мира. Однако иностранное влияние лишило значительную их часть первозданной исконности. Рассуждая о китайском влиянии в эпохи древности и средневековья, Янагида Кунио говорил: «Ученость того времени полностью зависела от сочинений на китайском языке... Их изучение приводило к огромной зависимости от них, и времени для выявления собственной индивидуальности не оставалось... Перечитывая исторические сочинения, убеждаешься в том, что чем больше было книг, тем больше было и подражательности, и тем больше исконное оставалось в тени» (Нихондзин 1976: 257). Официальные хроники Древней Японии тоже составлялись на китайском языке и, таким образом, являлись носителями китайских, а не японских смыслов. А потому в связи с тем, что они не отражают «душу» японского народа, невелика и их ценность.

Отсюда следует настоятельная необходимость изучения неписанных форм культуры, которые и являются носителями первоначальных – истинных! – смыслов. Заметим, что в начальный период массированного влияния китайской культуры в VII–VIII вв. никаких «японцев» еще не существовало, а первое употребление этого термина относится только к XII в. Однако «исторические» соображения были для Янагида Кунио и его учеников вторичными, они оперировали понятиями «раньше» и «теперь», разница в пару тысяч лет казалась

малосущественной: «Пришли ли японцы (на Японский архипелаг) три или пять тысяч лет назад... Важно понять, обладали ли они уже некоторыми свойствами – например преклонением перед сильным. Допускаю, что это преклонение сформировалось еще на их прародине» (Там же: 262–263).

Отсутствие историзма компенсировалось поэтическим подходом и частым употреблением метафор. Вот как описывает Хори Итиро жизнь абстрактного японца: «В самый момент появления в этом мире младенец уже живет в обществе. Без опеки матери, которая является центром семейного объединения, он не способен сохранить жизнь. Общество, признавая новорожденного в качестве своего члена, помещает его в свой плавильный котел, подвергает обучению. Человек, рожденный в деревне, является листочком на древе сельского общества. Он – листок на веточке, называемой семьей, через толстый сук, называемый общиной, он соединен с целым деревом общества в целом. Корни этого дерева уходят в глубину времени предков, которые напитывают его биологическо-культурным преданием и наследием. Поэтому листок-человек и живет – проникаясь опытом и энергией, накопленными бесчисленными покойниками. Через группу он формирует самого себя» (Нихондзин 1976: 65).

Хори Итиро подчеркивает, что жизнь такого человека не является «свободной – как у

животного». Поэтому он и вводит человека в растительный метафорический ряд. «Растительный код» был свойствен для японской культуры. Эта культура с готовностью фиксирует свое внимание на неподвижных природных объектах, которые претерпевают изменения ввиду их «трения» о время (Мещеряков 2006). С особенной яркостью эта особенность раскрывается в японоязычной поэзии, которая особенно нравилась послевоенным этнологам – ведь она была написана на японском языке. Однако этнологи шли дальше поэтов: они предлагали не только «заморозить» пространство, они предлагали остановить и время. В «культурные герои» записывали Сугавара Митидзанэ (845–903), который выступил инициатором отмены посольства в Китай. И не беда, что он мотивировал отмену посольства опасностями путешествия в политически нестабильный в то время Китай. Неважно, что Сугавара Митидзанэ был известен прежде всего как знаток китайской словесности. Не имея на то никаких оснований, Янагида Кунио и Хори Итиро утверждали: истинной причиной отмены посольства послужило осознание Сугавара Митидзанэ того факта, что у Китая учиться нечему (Там же: 266).

Отрицание исторических методов познания приводило к тому, что в оборот вводились такие понятия, которые, по мнению этнологов, имели надысторический характер. К их числу относятся прежде всего природные условия, которые якобы являются неизменными. Этнологам казалось, что

именно природные условия являются ключевым моментом в формировании национального менталитета.

Термин «симагуни» – «островная страна» – был одним из наиболее частотных в их словаре. Он был в широком употреблении и у довоенных пропагандистов, которые, оправдывая свои экспансионистские планы, утверждали, что у островной Японии слишком мало места для ее возрастающего населения. Однако территориальные приобретения (в особенности на материке – Корея и Маньчжоуго) привели к тому, что его отчасти сменили такие фразеологизмы, как «материковая Япония» (тайрику нихон) и «морская держава» (кайкоку). Военные победы лишали Японию ее «малости», о которой говорили те, кто обосновывал экспансию недостаточными размерами территории. И вот на страницах школьных учебников Япония на глазах превращалась в «морскую державу»: «Нынешняя Япония, как и говорит название “морская Япония”, во всех морях мира подняла свой “солнечный круг” (национальный флаг. – *А. М.*), который испускает сияние страны... Пространство, на котором несет свою славу морская Япония, необъятно. Продвигаться по этим широким просторам с “солнечным кругом” – наше благородное предназначение» (Ириэ 2001: 45). В это время море стало рассматриваться как среда проницаемая, как субстанция, через которую Япония станет – уже становится – великой. Однако

поражение в войне и потеря ею заморских территорий снова вернули Японию в ее исторические островные границы.

Принимая термин «островная страна», послевоенные этнологи делали совсем другие выводы. Хори Итиро писал: «Япония является островной страной, деревенское общество сформировалось в результате проявления принципиально “островной” феодальности, проявившей себя в интровертно-консервативной и столь замечательной сдержанности и приспособляемости, в развитой солидарности – в народе с выраженными национальными особенностями. Отсюда происходят и замечательные достижения в области бытовой культуры, религии, искусстве и литературе. С другой стороны, выпячивание собственного “я”, недопущение чужаков и островное сознание отрезали пути к исконной свободе. Окруженность общинного общества морем воспитала в японцах сильное чувство родины и мимикрию...» (Нихондзин 1976: 78). Таким образом, термин «симагуни» служил теперь доводом в пользу исключительности японцев – будь то характеристики положительные или отрицательные. Правила традиционного этикета требовали от человека скромности. Японец, взятый сам по себе, не должен был выпячивать свою уникальность. Однако правила поведения нации требовали совсем другого: отделения,

противопоставления, «индивидуализации» коллективного сознания.

По мнению Янагида Кунио, «островная жизнь» предполагала существование маленьких общин. «Человеку попросту было некуда деться – кругом море. Поэтому точно так же, как в случае с птицами и рыбами, отделение от коллектива грозило многими опасностями. (И у японцев) выработался почти такой же инстинкт. Нахождение в коллективе сильно уменьшает опасности. Перелетные птицы держатся вместе – отбиться от стаи означает сделаться добычей врагов. Полагаю, что отсюда и происходит чувство привязанности к коллективу» (Нихондзин 1976: 273).

Твердя о том, что островная Япония окружена водной стихией, послевоенные этнологи воспринимали море как преграду, а не как возможность для общения. Синкретизм японской культуры (сочетание автохтонных и заимствованных элементов из Кореи, Китая и стран Запада) интересовал их намного меньше, чем поиски самобытности.

Этнологи искали и находили признаки «исключительности» японцев. Их работы, получавшие с течением времени все больший резонанс, были, как правило, лишены агрессивной и экспансионистской составляющей. Ученые говорили не только о «достоинствах» японцев, но и об их «недостатках». Но даже эти недостатки представлялись как исключительные. Признавая

присущую японскому языку омонимию препятствием к свободному общению, Ото Токихико отмечал, что другого такого языка не существует (Там же: 163). Иными словами, этнологи, а вслед за ними и мыслители, журналисты и шарлатаны искали не общие для всего мира ментальные, поведенческие и бытовые структуры, а выделявшие из общего ряда «национальные» особенности. При таком подходе кросс-культурный анализ в значительной степени оказывался фикцией. Как правило, мыслители говорили о мире «в целом», о мире, не расчлененном на отдельные страны и традиции. Оборот «по сравнению с другими народами, японцы...» сделался общим местом. Этнологи утверждали, что по сравнению с другими народами в японской культуре четче выражено разделение священного и профанного, «своего» и «чужого», они более остро чувствуют смену времен года, у них более развито и чувство коллективной солидарности, японцы исключительно любопытны, они не боятся смерти. Главный носитель культурных смыслов, японский язык характеризуется невероятным богатством, ассоциативностью. Японский способ речевого общения отличается этикетностью, недосказанностью, расплывчатостью, поэтичностью. Официальная идеология военного времени тоже делала упор на особенности японцев, но это была особенность другого рода. В томе, посвященном 2600-летию японской империи, которое широко праздновалось в 1940 г., говорилось: «То сердечное

благоговение, которое испытываем мы, японоподданные, по случаю 2600-летия страны, трудно уяснить до конца людям из других стран; понять глубины нашего сердца очень тяжело» (Тэнгё хосе, с. 3).

Общеяпонский политический климат, скептицизм по отношению к недавней истории, усилия этнологов по отрицанию исторической науки принесли решительные изменения в среду профессиональных историков. В послевоенный период в течение двух с лишним десятилетий историки-марксисты играли ведущую роль. Эти японские историки оказались «больны» тем же самым набором болезней, который характерен для этого направления исторической науки. К этим «болезням» следует отнести прежде всего примат теории над фактом, представление об истории как продукте исключительно классовой борьбы, игнорирование роли личности, психологической составляющей истории, локальной специфики исторического процесса. В результате в изображении этих ученых японская история – за исключением имен и дат – стала выглядеть как история любого другого государства. Таким образом, японская историческая наука первых послевоенных десятилетий по своим методологическим установкам («все факты должны соответствовать теории») отличалась от довоенной историографии немногим.

В противовес им этнологи предложили такие ценности, устоять перед которыми японцы оказались не в силах, – их усилия не пропали даром. Во второй половине 60-х гг., когда мир заговорил о японском экономическом чуде, начался расцвет идеологии, известной как «японизм» (нихондзинрон). Эта идеология утверждала отличность японцев от всех других народов. Количество публикаций на эту тему не поддается учету, а их анализ представляет собой тему для самостоятельного исследования. Отметим лишь, что правящие круги активно поддерживали этнологию. Зримым выражением такой поддержки явился открытый в 1977 г. в Осаке суперсовременный гигантский государственный музей этнографии. Он обладал богатыми материальными ресурсами и хорошим подбором научных кадров. Он проводил и проводит множество выставок, публикации сотрудников охватывают самую разную тематику. Однако в массовом сознании все это служило лишь подтверждением того, что японцы весьма и весьма отличны от других народов. В результате не только сами японцы, но и западный мир уверовали в исключительную специфику всего японского (экспорт культурных стереотипов осуществлялся при прямой государственной поддержке). В этом дискурсе японцы обладали исключительным чувством прекрасного, их отношение к природе характеризовалось исключительной гармонией (и это на фоне бурного развития промышленности,

уничтожавшей привычную среду обитания); японское кимоно было исключительно хорошо приспособлено к японскому стилю жизни (и это при том, что кимоно все более вытеснялось европейской одеждой); японский язык представал как совершенно особый (при этом его обычно сравнивали с английским, а не с родственными ему алтайскими языками); пищевая диета японцев служила примером для подражания. Предметом специфической гордости стал даже факт того, что длина кишечника у японцев больше, чем у других народов, ввиду того, что основу традиционной диеты японцев составляют продукты растительного происхождения. Дело дошло до того, что было объявлено: даже полушария мозга работают у японцев не так, как у других народов.

Пропагандисты «японизма», среди которых было немало шарлатанов от науки, стали пользоваться огромной популярностью. Основу их теоретического багажа составили работы школы Янагида Кунио, который был объявлен «отцом японской этнологии». В результате был сконструирован новый вариант «японской нации». Этот вариант по большей части был лишен агрессивной политической составляющей. Его задача состояла в другом – в достижении психологического комфорта, которым обладает лишь тот японец, который видит свои владения окруженными высоким забором.

Литература

Ириэ Ёко. 2001. *Нихон га камии-но куни дата дзидай. Кокумин гакко-но кёкасё-о ёму.* Токио: Иванами.

Мещеряков, А. Н. 2006. *Древняя Япония: культура и текст.* СПб.: Гиперион.

Нихондзин. 1976. Янагида Кунио хэн. Майнити симбунся.

Сокуи кинэн косицу дайтэн (Основные установления относительно императорского дома, приуроченные к интронизации). 1913. Токио: Тэйкоку дзицугё гаккай.